

БОЖЬЯ РОСА

Он ранит сильно, но читается на одном дыхании. Да, это поэзия. Больная, растоптанная, отлетающая. Эта волшебная чаша пролилась вот так. И не в том беда, что не синячивший не поймет. А в том, что помнят и знают «Москву-Петушки» не за поэзию, а за возвышение слабости. За оправдание мерзости. Природа человека трагична, и жизнь полна печали: это становится уважаемым поводом для погружения в грязь и ничтожество того божественного дара, которым был он то ли награжден, то ли наказан.

Это большая русская традиция – объявлять свои страдания чем-то необыкновенным, неслыханным, небывалым, и использовать их как оправдание и повод для потакания любым и всяческим видам слабости. В страсти к саморазрушению видится нечто особенное, только нам, русским, присущее, и для России тот не поэт, кто не несет в себе этого губительного начала. Тут усматривается какая-то уникальная тайна национальной души и природы, нечто, отличающее русского от всех.

Здесь многое идет от Достоевского, от «полюбите нас черненькими», от испуганной проповеди эгоцентризма самого последнего человека на земле. Только ведь Достоевский ничего не придумал. Он называл то, что видел. Потом был декаданс, с его культом игры в жизнь и смерть, и кокаиновая мода. И вся наша кровавая и жалкая история. Как тут не выпить.

Поэзия – это не про саморазрушение. Поэзия это про внутреннюю свободу. Кому нужна свобода в стране, где каждый ищет форму выживания? Где никто ничего не может изменить. Где никто никому не нужен. Здесь нужно только оправдание, потому что способы существования ужасны.

Поэтому национальными героями становятся те, чей дар оказался несоразмерен их личной силе. Кому ноша была тяжела. Кому шапка не по сеньке. Дело не в величине дара, не в прозрачности слова – а в том, что дух сломлен.

Едет-то Веничка, чтобы забыться и не быть. Чтобы избавиться – не от алкоголизма, нет, – от проклятого дара чувствовать и слышать. Какой там бог, там мало-душие. Пафос поэмы в оправдании и оплакивании распада личности, потому что эта личность не в силах иначе распорядиться своей природой.

Святые дарят просветление и спасают прикосновением, а тут героя самого спасти нужно. Он не ищет осознания и не ищет силы, он хочет небытия. Потому что мир оказался его не достоин. И вот он бредет по дороге в яму, среди обломков любви и плачет об бессилии и жалости к себе.

В нем что-то от капитана Лебядкина мне чудится, в этом юродстве, в этой жалкой браваде, в больной похвальбе... Лебядкин, правда, сестрицу бил смертным боем, что не мешало ему преклоняться перед вечной женственностью, а Веничка старается испачкать женственность словом. Здесь глубокие корни, потому что

женщина дает жизнь. И в то же время природа женственности связана с природой поэзии, с природой духа – его стремление унижить ее, это его отношение к миру, который не понял, не принял...

Конечно, это поиск оправдания. Для себя самого, прежде всего. Потому что это не он выбрал себе так быть, а он не сумел быть иначе.

Его слово ранит. Его слово звенит от боли. В нем сумасшедшая сила, которая могла воздвигать горы, но так и ушла в самосожаление. Его тепла хватило бы согреть город, а он сумел только поджечь спичку и опалить пальцы.

И там, куда попадают после смерти все, кто потерялся, запутался, испугался... куда приходят те, кто хочет быть согрет и утешен, вот туда он идет, со своим чемоданчиком. Он возвращает свою поэму тому, кто взвалил на него этот непосильный дар. Предъявляет ее как пропуск, как заклинание... как секретный ключ...

И обретает забвение.